

Ги де Мопассан

Прощай!

Два приятеля кончали обедать. В окно кафе был виден многолюдный бульвар. Они чувствовали, как тянуло теплым ветерком, который пробегает по Парижу ласковыми летними вечерами и будоражит прохожих, манит уехать куда-нибудь под деревья, далеко, сам не знаешь куда, навевает мечты о реках, освещенных луной, о светлячках и соловьях.

Анри Симон сказал, глубоко вздохнув:

— Старею, старею... Грустно. Бывало, такими вечерами я чувствовал, как кровь кипит в жилах. А теперь я чувствую только тоску! Да, быстро проходит жизнь!

Ему было лет сорок пять, он уже отяжелел и облысел.

Пьер Карнье, чуточку постарше, сухощавый и все еще живой, подхватил:

— А я, голубчик, постарел и сам того не заметил. Я всегда был веселым, жизнерадостным, здоровым и все такое прочее. Каждый день смотришься в зеркало, вот и не замечаешь работы времени, а работа эта медленная, равномерная, и лицо меняется так постепенно, что переходов никак не уловишь. Только потому мы и не умираем от горя уже после двух-трех лет этой разрушительной работы. Мы ее не видим. Надо бы с полгода не смотреться в зеркало, лишь тогда можно отдать себе в ней отчет — и какой это будет удар!

А женщины, дорогой! Как мне их, бедняжек, жалко! Все счастье, вся сила, вся жизнь для них в красоте, но ее хватает лет на десять.

Ну так вот, я состарился, сам того не подозревая. Я все еще считал себя чуть ли не юношей, а мне было уже под пятьдесят. Никогда и ничем я не хворал и жил счастливо и спокойно.

Моя старость открылась мне очень простым и страшным образом, полгода я ходил как пришибленный... потом примирился.

Я часто влюблялся, как и все мужчины, но по-настоящему любил только раз.

Я встретил ее в Этрета, на берегу моря, лет двенадцать тому назад, сразу же после войны. Нет ничего милее этого пляжа утром, в часы купания. Он невелик, изогнут подковой, его обступили высокие белые скалы с причудливыми арками, которые называют «воротами». Одна скала, огромная, протянула в море гигантскую лапу, другая — круглая, низкая, как будто сидит напротив нее; на узкой кося, усеянной галькой, собираются стайками, толпятся женщины, — пестрый цветник ярких туалетов в рамке высоких скал. Солнце светит вовсю на берег, на разноцветные зонтики, на зеленовато-голубое море, и все вокруг радует, чарует, ласкает взор. Садишься у самой воды и рассматриваешь купальщиц. Они спускаются к морю, завернувшись в фланелевые пеньюары, сбрасывают их красивым движением у кружевной пены набегающих волн, быстрыми шагами входят в воду, иногда останавливаются, зябко ежатся, переводят дух.

Не всякая выдержит такой экзамен. Тут-то их и разбираешь по всем статьям. Недостатки особенно заметны, когда купальщицы выходят на берег, хотя морская вода очень бодрит вялое тело.

С первого же раза, как я увидел на купании эту женщину, я был восхищен, очарован. Она выдержала, блестяще выдержала испытание. Да, бывают такие лица, что сразу привлекают своей прелестью, захватывают целиком. Кажется, что нашел наконец женщину, предназначенную тебе от рождения. Вот это ощущение, эту мгновенную любовь пережил и я.

Мы познакомились, и скоро я так увлекся, как никогда и никем. Она истомила мне сердце. Мучительно и сладко такое полное подчинение женщине. Это чуть ли не пытка и вместе с тем бесконечное блаженство. Взгляд, улыбка, завитки на шее, когда их шевелил ветерок, каждая черточка ее лица, каждое мимолетное выражение, — все восхищало, потрясало меня, сводило с ума. Она заполонила, околдовала меня, от ее жестов, движений, даже от вещей исходило какое-то очарование. Меня умиляла ее вуалетка, лежавшая на столе,

перчатки, брошенные на кресло. Ее платья казались мне неподражаемыми, никто не носил таких шляпок.

Она была замужем. Но супруг приезжал по субботам и отправлялся обратно по понедельникам. Впрочем, он был мне безразличен. Я совсем не ревновал к нему, почему — и сам не знаю, но никто еще не казался мне таким незначительным, ни на кого я не обращал так мало внимания, как на него.

Зато как я любил ее! И какая она была красивая, милая и молодая! Воплощенная молодость, изящество, и свежесть! Никогда раньше я так остро не чувствовал, какое красивое, грациозное, утонченное, прелестное создание — женщина: само очарование и нежность! Никогда раньше я не понимал, сколько пленительной красоты в очертании щек, в изгибе губ, в закругленной линии маленького ушка, в форме того нелепого органа, который называется носом.

Это продолжалось три месяца, потом я уехал в Америку, терзаясь отчаянием. Но мысль о ней жила во мне, упорная, всепобеждающая. Эта женщина владела мной издали, как владела когда-то вблизи. Шли годы. Я не забывал ее. Милый образ был у меня перед глазами, жил в моем сердце. Я любил ее все так же нежно, только спокойнее, как дорогое воспоминание о самом прекрасном и радостном, что было в жизни.

Что такое двенадцать лет в жизни человека? Промелькнут — и не почувствуешь! Годы идут один за другим, медленные и стремительные, неспешно и торопливо, каждый тянется долго, а проходит так скоро! И накапливаются они так быстро, оставляют так мало следов, — канули в вечность, и нет их, оглянешься на пройденный путь — и ничего не видишь, и не понимаешь, как случилось, что ты состарился.

Мне, право, казалось, что всего несколько месяцев прошло с того чудесного лета на пляже в Этрета.

Прошлой весной я как-то поехал обедать к знакомым в Мезон-Лафит.

Когда поезд уже трогался, в вагон вошла толстая дама в сопровождении четырех девочек. Я мельком взглянул на эту наседку, рыхлую, дебелую, с круглым, как луна, лицом, в ореоле соломенной шляпки, украшенной лентами.

Она запыхалась от быстрой ходьбы и никак не могла отдышаться. А дети принялись щебетать. Я развернул газету и погрузился в чтение.

Мы уже проехали Аньер, когда соседка вдруг заговорила со мной:

— Простите, сударь, вы не господин Карнье?

— Да, сударыня.

Тут она рассмеялась довольным смехом благодушной женщины, и все же в смехе ее была какая-то грусть.

— Не узнаете?

Я колебался. Мне в самом деле казалось, будто я где-то видел ее лицо. Но где? Когда? Я ответил:

— И да... и нет... Мы, несомненно, встречались, но я не могу припомнить, кто вы.

Она чуть покраснела.

— Жюли Лефевр.

Никогда не переживал я такого удара. На минуту мне показалось, что все кончено для меня! Я почувствовал, что пелена спала с моих глаз и теперь мне откроется что-то ужасное, потрясающее.

Так это она! Эта дебелая, будничная женщина — она? И за то время, что мы не виделись, она высидела четырех девочек! Эти маленькие существа вызывали во мне такое же удивление, как и мать. Они были ее плотью; они уже выросли, уже заняли место в жизни. А она теперь в счет не шла, она — то чудесное, изысканное создание, кокетливое и милое. Казалось, мы расстались только вчера, и вот что с ней стало! Да как же это возможно? Сердце сжалось от острой боли, и в то же время во мне нарастало возмущение против природы, безрассудный гнев против жестокого, отвратительного разрушения.

Я растерянно глядел на нее. Потом взял ее за руку, и слезы навернулись мне на глаза. Я оплакивал ее молодость, я оплакивал ее смерть, — потому что эту толстую даму я не знал.

А она говорила, тоже волнуясь:

— Стало быть, я очень изменилась? Что делать, все проходит. Видите, я стала матерью, только матерью, примерной матерью. А все остальное — прощай, конечно! Ах, я так и думала, что вы меня не узнаете, если нам доведется встретиться! Да и вы изменились! Сперва я решила, что обозналась. Вы совсем седой. Подумать только, прошло двенадцать лет! Двенадцать лет! Моей старшой дочке уже десять.

Я посмотрел на девочку. И нашел в ней что-то от былого очарования матери, но что-то еще неопределенное, несложившееся, только намек. И жизнь показалась мне быстрой, как несущийся вдаль поезд.

Мы приехали в Мезон-Лафит! Я поцеловал руку моей былой возлюбленной. У меня нашлись для нее только самые банальные слова. Я был слишком потрясен и не мог говорить.

Вечером, сидя дома, один, я долго разглядывал себя в зеркале, очень долго. И в конце концов вспомнил, каким я был раньше, мысленно представил себе и темные усы, и черные волосы, и молодое выражение лица. Теперь я уже старик. Прощай, жизнь!